

Александр Куприн

Ночлег



Александр Иванович Куприн

Ночлег

Текст предоставлен правообладателем

Ночлег: 1895

Аннотация

«...В последних числах августа, во время больших маневров, N-ский пехотный полк совершал большой, сорокаверстный переход от села Больших Зимовец до деревни Нагорной. День стоял жаркий, палящий, томительный. На горизонте, серебряном от тонкой далекой пыли, дрожали прозрачные волнующиеся струйки нагретого воздуха. По обеим сторонам дороги, куда только хватал глаз, тянулось все одно и то же пространство сжатых полей с торчащими на нем желтыми колючими остатками соломы...»

Александр Иванович Куприн Ночлег

В последних числах августа, во время больших маневров, N-ский пехотный полк совершал большой, сорокаверстный переход от села Больших Зимовец до деревни Нагорной. День стоял жаркий, палящий, томительный. На горизонте, серебряном от тонкой далекой пыли, дрожали прозрачные волнующиеся струйки нагретого воздуха. По обеим сторонам дороги, куда только хватал глаз, тянулось все одно и то же пространство сжатых полей с торчащими на нем желтыми колючими остатками соломы.

След отряда издали обозначался длинной извилистой и узкой лентой желтоватой пыли. Солдаты шли, совершенно окутанные ею. Пыль скрипела во рту, садилась на вспотевшие лица и делала их черными. Только зубы да белки глаз сверкали своею белизною на этих измученных, исхудавших, казавшихся суровыми лицах. Согнувшись под тяжестью ранцев и надетых поверх их скатанных в кольца шинелей, солдаты шли молча, враздробь, едва волоча усталые ноги. Лишь изредка, когда чей-нибудь штык с лязганьем задевал о соседний штык, из рядов слышалось грубое, озлобленное ругательство. Люди не высыпались и томились от зноя, устало-

сти и жажды. Некоторые вяло, без всякого аппетита, чтобы только чем-нибудь сократить время длинного и скучного перехода, жевали на ходу розданный утром хлеб.

Офицеры шли не в рядах – вольнось, на которую высшее начальство смотрело в походе сквозь пальцы, – а обочиною, с правой стороны дороги. Их белые кителя потемнели от пота на спинах и на плечах. Ротные командиры и адъютанты дремали, сторбившись и распустив поводья, на своих худых, бракованных лошадях. Каждому хотелось как можно скорее во что бы то ни стало дойти до привала и лечь в тени.

Поручик Авилов, болезненный, молчаливый и нервный молодой человек, шел против первого ряда своей одиннадцатой роты. Новые сапоги сильно жали ему ноги, португепя оттягивала плечо, в голове мягко и тяжело билась кровь. Но более всего угнетала Авилова всегда овладевавшая им во время похода тупая скука, от которой он старался избавиться каким-нибудь мелким занятием. То он срывал с придорожной ивы гибкий хлыст и отчищал его зубами и ногтями от коры, то старательно сшибал шашкою пунцовые головки колючего репейника, то, наметив вдали какой-нибудь пункт, старался угадать, сколько до него шагов, и потом проверял себя. Наконец, когда все это ему надоедало, он принимался «мечтать», как, бывало, делал еще в корпусе за всенощной, чтобы убить время. Он мысленно спрашивал себя: «Ну, о чем же теперь?» – и начинал перебирать в уме все, что могло бы ему доставить удовольствие или что раньше заинтере-

совало его воображение в слышанном и прочитанном. Иногда он представлял себя известным путешественником вроде Пржевальского или Елисеева. Он собирал экспедицию из отважных, закаленных в перенесении трудов и опасностей авантюристов, которые трепетали перед одним его взглядом. Он открывал неизведанные еще острова и земли и водружал на них русский флаг. Имя его гремело по всему свету. Когда он возвращался в Россию, ему устраивали шумные встречи. Женщины бросали ему цветы и в восхищении шептали одна другой: «Вот он, вот тот, самый знаменитый!» Иногда он воображал, что маневры уже окончились и он идет со своей ротой на вольные работы к какому-нибудь помещику, баснословно богатому и непременно с аристократическим именем. У помещика есть дочь – бледная, задумчивая красавица. Светские кавалеры давно опротивели ей своей бесцветной пустотой, и она с первого взгляда же влюбляется в простого пехотного поручика, бедного и гордого, постоянно замкнутого в себе, «с печатью разочарования на челе». Лунная ночь, свидание в старом запущенном саду, пламенные признания в любви... «Нам необходимо расстаться, – говорит мрачно Авилов, – ты богата, а я нищий, мы не будем никогда счастливы». Помещичья дочь плачет у него на груди, он утешает ее. Из-за кустов неожиданно появляется сам помещик, растроганный, со слезами на глазах. «Дети мои, – говорит помещик, – я хочу, чтобы вы любили друг друга. Не деньги, а истинная любовь приносит людям счастье». С этими сло-

вами он благословляет влюбленных; все трое обнимаются и плачут. Через несколько дней в приказе по полку товарищи с удивлением и завистью читают, что поручик Авилов, рапортом за N таким-то, просит разрешения на вступление в первый законный брак с девицею, княжною Зэт...

Порою фантазия так ярко рисовала ему эти сцены, что и дорога, и пыль, и серые, однообразно шагающие ряды солдат переставали для него существовать. Он шел с низко опущенной головой, с неопределенной улыбкой на губах, с расширившимися и потемневшими неподвижными глазами. Несколько верст уходили незаметно, и когда Авилов просыпался от своих грез, перед ним уже расстилалась совершенно новая местность.

Вечерние тени удлиннились. Солнце стояло над самой чертой земли, окрашивая пыль в яркий пурпуровый цвет. Дорога пошла под гору. Далеко на горизонте показались неясные очертания леса и жилых строений.

Навстречу отряду тянулся бесконечный крестьянский обоз. При приближении солдат хохлы медленно, один за другим, сворачивали своих громадных, серых, круторогих, ленивых волов с дороги и снимали шапки. Все они, как один, были босиком, в широчайших холщовых штанах, в холщовых же рубахах. Из расстегнутых воротов рубах выглядывали обнаженные шеи, темно-бронзовые от загара и покрытые бесчисленными мелкими морщинами.

По мере того как солдаты проходили мимо обоза, из рядов

сыпались нетерпеливые вопросы:

– Дядька, а далеко еще до Нагорной?

– Земляк, сколько верст осталось до Нагорной?

– Что, братцы, это там Нагорная видна?

Хохлы, лениво, с расстановкой отвечали, что до Нагорной «версты три або четыре, мабудь, е, с гаком». Солдаты ободрялись, поднимали выше головы и невольно прибавляли шагу.

Через четверть часа внизу, в глубокой лощине, блеснула синяя широкая лента реки. Солнце село. Запад пылал целым пожаром ярко-пурпуровых и огненно-золотых красок; немного выше эти горячие тона переходили в дымно-красные, желтые и оранжевые оттенки, и только извилистые края прихотливых облаков отливали расплавленным серебром; еще выше смугло-розовое небо незаметно переходило в нежный зеленоватый, почти бирюзовый цвет. Тонкий серп молодого месяца, бледный, едва заметный, стоял посреди неба; первые звезды начинали робко поблескивать в вышине.

– Господа офицеры, по местам! Барабанщики, поход! – закричал в голове отряда раскатистый начальнический голос.

Один за другим, в разных местах длинной колонны, глухо зарокотали барабаны. Солдаты бегом заскакивали в ряды, поправляя на ходу толчком спины и плеч ранец и подпрыгивая, чтобы попасть в ногу. Офицеры, обнажая на ходу шашки, спешно отыскивали свои места.

Наклон дороги сделался еще круче. От реки сразу повеяло

сырой прохладой. Скоро старый, дырявый деревянный мост задрожал и заходил под тяжелым дробным топотом ног. Первый батальон уже перешел мост, взобрался на высокий, крутой берег и шел с музыкой в деревню. Гул разговоров стоял в оживившихся и выровнявшихся рядах.

– Федорчук, не пыли... Подымай, бисов сын, ноги.

– А что, Шаповалов, ловкая у тебя в Зимовицах была хозяйка? А? Как она яво, братцы мои, уфатом!

– Не лезь.

– Очень просто. Потому что он сичас с руками.

– Уж это беспрременно, ребята: как вечером небо красное – к завтрашнему жди ветра.

– Эй, третий взвод, кто за хлебом? Смотри, черти, опять прозеваете!

– Подержи, земляк, ружье, я шинель поправлю. А любезная эта самая вешшь – маневра! Куда лучше, чем, например, ротная школа.

– Не отставай, четвертый взвод! Дохлые!

С пригорка была видна вся деревня. Белые мазаные хатенки, тонушие в вишневых садках, раскинулись широко в огромной долине и по ее склонам. За крайние хаты высыпала пестрая толпа, большею частью баб и ребятишек, посмотреть на «москалей». Запевала одиннадцатой роты, ефрейтор Нога, самый голосистый во всем полку, не дожидаясь приказания начальства, выскочил вперед, попал в такт, оглянулся на идущих сзади, сбил шапку на затылок и, приняв небреж-

но хмурый вид, преувеличенно широко размахивая правой рукой, запел:

Зима люта-ая проходить,
Весына-красна настаеть,
Весна-красна д'настаеть,
У солдата сердце мреть.

Сто здоровых голосов оглушительно подхватили припев, и каждый солдат, проходя с притворно равнодушным видом перед глазами изумленной толпы, чувствовал себя героем в эту минуту. «Это все мужичье, разве они что-нибудь понимают? Им военная служба страшнее самого черта: и бьют, мол, там, и на ученье морят, и из ружья стреляют, и в походы на турков водят. А я вот ничего этого не боюсь, и мне на все наплевать, и никакого я на вас, мужиков, внимания не обращаю, потому что мне некогда, я своим *солдатским* делом занят, самым важным и серьезным делом в мире». Эту мысль Авилов читал на всех лицах, начиная от запевалы и кончая последним штрафованным татаринном, и сам он, против воли, проникался сознанием какой-то суровой лихости и шел легкой, плывущей походкой, высоко подняв голову и выпрямив грудь.

Нам ученье чижало,
Между проч-чим ничего! —

пел Нога, коверкая из молодечества слова и подкрикивая хору жесточайшим фальцетом. Никто не думал больше о натертых ногах и об ранцах, наломивших спины. Люди давно уже издали заметили четырех «своих» квартирьеров, идущих роте навстречу, чтобы сейчас же развести ее по заранее назначенным дворам. Еще несколько шагов, и взводы разошлись, точно растаяли, по разным переулкам деревни, следуя с громким хохотом и неумолкающими шутками каждый за своим квартирьером.

Авилов нехотя, ленивыми шагами доплелся до ворот, на которых мелом была сделана крупная надпись: «кватера Поручика ателова». Дом, отведенный Авилову, заметно отличался от окружающих его хатенок и размерами, и белизной стен, и железной крышей. Половина двора заросла густой, выше человеческого роста кукурузой и гигантскими подсолнечниками; низко гнувшимися под тяжестью своих желтых шапок. Около окон, почти закрывая простенки между ними, подымались длинные тонкие мальвы со своими бледно-розовыми и красными цветами.

Денщик Авилова, Никифор Чурбанов – ловкий, веселый, и безобразный, точно обезьяна, солдат, – уже раздувал на крыльце снятым с ноги сапогом самовар. Увидя барина, он бросил сапог на землю и вытянулся.

– Сколько раз я тебе повторял, чтобы ты не раздувал сапогом, – сказал брезгливо Авилов. – Покажи, где здесь пройти.

Денщик отворил дверь из сеней направо. Комната была

просторная и светлая; на окнах красные ситцевые гардинки; диван и стулья, обитые тем же дешевым ситцем; на чисто побеленных стенах множество фотографических карточек в деревянных ажурных рамах и два олеографических «приложения»; маленький пузатый комод с висящим над ним квадратным тусклым зеркалом и, наконец, в углу необыкновенно высокая двухспальная кровать с целой пирамидой подушек – от громадной, во всю ширину кровати, до крошечной думки. Пахло мятой, любистком и чабрецом. В Малороссии пучки этих трав всегда втыкаются «для духу» за образа.

Авилов стянул с себя об спинку кровати сапоги и лег, закинув руки за голову. Теперь ему стало еще скучнее, чем на походе. «Ну, вот и пришли, ну и что же из этого? – думал он, глядя в одну точку на потолке. – Читать нечего, говорить не с кем, занятия нет никакого. Пришел, растянулся, как усталое животное, выспался, а опять завтра иди, а там опять спать, и опять идти, и опять, и опять... Разве заболеть да отправиться в госпиталь?»

Темнело. Где-то близко за стеною торопливо тикал маятник часов; Со двора слышалось, как всей грудью и подолгу не переводя духу раздувал Никифор уголья в самоваре. Вдруг Авилову пришла в голову мысль искупаться.

– Никифор! – крикнул он громко.

Никифор поспешно вошел, хлопая дверьми и стуча надежными уже сапогами, и остановился у порога.

– Здесь река есть? – спросил Авилов.

– Так точно!

– А что, если бы выкупаться? Как ты думаешь?

– Так точно, можно, вашбродь, – немедленно согласился денщик.

– Да ты наверное говори. Может быть, грязно?

– Так точно, страсть – грязно, вашбродь. Так что – прямо болото. Даве кавалерия лошадей поила, так лошади пить не хотят.

– Ну и дурак! А ты вот что скажи мне...

Авилов запнулся. Он и сам не знал, что спросить. Ему просто не хотелось оставаться одному.

– Скажи мне... Хозяйка хорошенькая?

Денщик засмеялся, отер рукавом губы и с конфузливый видом отвернул голову к стене.

– Ну? – нетерпеливо поощрил Авилов.

– Так что... Не могу знать... Они – ничего, вашбродь... хорошенькие... вроде как монашки.

– А муж старый? Молодой?

– Не очень старый, вашбродь. Так точно, молодой. Он писарем здесь, муж евонный, служит.

– Писарем? А почему же как монашка? Ты с ней разговаривал?

– Так точно, разговаривал. Я говорю, смотрите, сейчас барин мой придет, так чтобы у вас все в порядке было...

– Ну, а она?

– Она что ж? Она повернулась, да и пошла себе. Сердитая.

– А муж ее дома?

– Дома. Только теперь его нет, – ушел куда-то.

– Ну, хорошо. Давай самовар да поди скажи хозяйке, что я прошу ее на чашку чаю. Понимаешь?

Через несколько минут Никифор внес самовар и зажег свечи. Заваривая чай, он произнес:

– Ходил я сейчас... к хозяйке-то...

– Ну и что же?

– Сказал.

– Ну?

– Она говорит: оставьте меня, пожалуйста, в покое. Никакого, говорит, мне вашего чая не надо.

– И черт с ней! – решил Авилов, зевая. – Наливай чай!

Он молча поужинал холодной говядиной и яйцами и напился чаю. Никифор так же молча ему прислуживал. Когда офицер кончил чай, денщик унес самовар и остатки ужина к себе в сарай.

Авилов разделся и лег. Как всегда после сильной усталости – ему не спалось. Из-за стены по-прежнему слышалось однообразное тиканье часов и какой-то странный шум, похожий на то, как будто бы два человека разговаривали быстрым и сердитым шепотом. В окне, прямо перед глазами Авилова, на темно-синем небе отчетливо рисовался недалекий пирамидальный тополь, стройный, тонкий и темный, а рядом с ним, сбоку, ярко-желтый месяц. Едва Авилов закрывал веки, перед ним тотчас же назойливо вставала скучная карти-

на похода: серые комковатые поля, желтая пыль, согнутые под ранцами фигуры солдат. На мгновение он забывался, и, когда опять открывал глаза, ему казалось, что он только что спал, но сколько времени – минуту или час – он не знал. Наконец ему удалось на самом деле заснуть легким, тревожным сном, но и во сне он слышал быстрое тиканье маятника за стеной и видел скучную дневную дорогу.

Часа через полтора Авилов вдруг опять почувствовал себя лежащим с открытыми глазами и опять спрашивал себя: спал он, или это только была одна секунда полного забвения, отсутствия мысли? Месяц, уже не желтый, а серебряный, поднялся к самой верхушке тополя. Небо стало еще синее и холоднее. Порою на месяц набегало белое, легкое, как паутина, облачко, и вдруг все оно освещалось оранжевым сиянием. Быстрый, сердитый шепот, который Авилов слышал давеча за стеною, перешел в сдержанный, но довольно громкий разговор, похожий на ссору, вот-вот готовую прорваться в озлобленных криках. Авилов прислушался. Спорили два голоса: мужской низкий, то дребезжащий, то глухой, точно из бочки, какой бывает только у чахоточных пьяниц, и женский – очень нежный, молодой и печальный. Голос этот на мгновение вызвал в голове Авилова какое-то смутное, отдаленное воспоминание, но такое неясное, что он даже и не остановился на нем.

– Спать я тебе не даю? – спрашивал мужчина с желчной иронией. – Спать тебе хочется? А если ты меня, может быть,

на целую жизнь сна решила? Это ничего? А? У, под-длая! Спать хочется? Да ты, дрянь ты этакая, ты еще дышать-то смеешь ли на белом свете? Ты...

Мужчина внезапно раскашлялся глухим, задыхающим кашлем. Авилов долго слышал, как он плевал, хрипел и ворочался на постели. Наконец ему удалось справиться с кашлем.

– Тебе спать хочется, а я, как овца, по твоей милости кашляю... Вот погоди, ты меня и в гроб скоро вгонишь... Тогда выспишься, змея.

– Да вольно же вам, Иван Сидорыч, водку пить, – возразил печальный и нежный женский голос. – Не пили бы, и грудь бы не болела.

– Не пить? Не пить, ты говоришь? Да ты это что же? Я твои деньги, что ли, в кабаке оставляю? А? Отвечай, твои?

– Свои, Иван Сидорыч, – покорно и тихо ответила женщина.

– Ты в дом принесла хоть грош какой-нибудь, когда я тебя брал-то? А? Хоть гривенник дырявый ты принесла?

– Да вы ведь сами знали, Иван Сидорыч, я девушка была бедная, взять мне было неоткуда. Кабы у меня родители богатые...

Мужчина вдруг засмеялся злобным, презрительным долгим хохотом и опять раскашлялся.

– Бе-едная? – спросил он ядовитым шепотом, едва переводя дыхание. – Бедная? Это мне все равно, что бедная. А

ты знаешь, какое у девушки богатство? Ты это знаешь?

Женщина молчала.

– Ежели она себя соблюла, вот ее богатство! Че-е-есть! Ты этого слова не слыхала? Что? Я тебя спрашиваю, ты это слово слыхала или нет? Ну?

– Слыхала, Иван Сидорыч...

– Врешь, не слыхала. Кабы ты слыхала, ты сама бы честная была. А я разве тебя честную замуж взял? Ну?

– Что же, Иван Сидорыч, я как перед богом... Моя вина... Пятый год прошу прощения у вас.

Она заплакала тихо, тоненько и жалобно. Но ее слезы только еще более раздражили мужа. Он от них пришел в ярость.

– И десять лет проси – не прощу. Никогда я тебя, развратница, не прощу. Слышишь, никогда!.. Зачем ты мне не призналась? Зачем ты меня обманывала? Ага! Ты думала, я чужие грехи буду покрывать? Вот, мол, дурак, слава богу, нашелся, за честь сочтет чужими объедками пользоваться. Да ты знаешь ли, тварь, я на купеческой дочке мог бы жениться, если бы не ты... Я бы карьеру свою теперь сделал. Я бы...

– Да ведь не сама я, Иван Сидорыч, – отвечала, всхлипывая, женщина, – не своей охотой я пошла-то за вас. Вы сами знаете, как меня маменька била в то время.

Это оправдание довело мужчину до бешенства. Он опять страшно закашлялся, и в промежутках между приступами кашля Авилов услышал целый поток озлобленной скверной

ругани. Потом вдруг в соседней комнате раздался резкий и сухой звук пощечины, за ним другой, третий, четвертый, и в ночной тишине посыпались беспощадные, рассчитанные, ожесточенные удары. А затем как-то все сразу смолкло. Стало так тихо, что можно было расслышать писк червяка, точившего дерево. Авилов лежал, широко раскрыв глаза; сердце его учащенно билось от какого-то жуткого, грустного и жалостливого чувства. Потом он услышал тихий голос женщины, заглушаемый сдержанным плачем.

– Боже мой, господи, – причитала она, рыдая, скрежеща зубами и захлебываясь от слез, – отчего ты мне не пошлешь смерти мучительной? Ведь пять лет... пять лет каждая ночь не обойдется без попреков. Хотя убил бы меня сразу, изверг! За что ты меня терзаешь? За что? Разве я не слуга тебе? Разве я не твоя раба? Ну, хоть бы одну ноченьку ты из меня души моей не выматывал. Одну только ночь! Что же ты думаешь, я *того*, проклятого, любила? Пусть его господь покарает за меня позорной смертью. Если бы я встретила его, задушила бы, вот так, пальцами бы своими задушила!.. Жизнь он мою загубил, негодяй! Двадцать пять лет мне, я уж старухой стала... Моченьки моей нет!

Долго Авилов слушал эти страстные, отчаянные жалобы, все стараясь припомнить, где он раньше слышал похожий голос, и вдруг неожиданно, сразу, заснул крепким здоровым сном, без всяких видений.

Под утро он опять проснулся. Месяца уже не было вид-

но. Небо из темно-синего сделалось светло-серым. Авилов с удивлением опять услышал за стенкою те же голоса.

– Милая моя, дорогая, – говорил мужчина растроганным, ослабевшим голосом, – если бы не это, как бы я тебя любил-то! То есть ветру на тебя дохнуть не позволил бы. Барыней бы у меня была, вот что.

– Ах, Иван Сидорыч, ну, простите вы меня наконец. Ну, будем как люди, как все... На что уж я вам послушна, а тогда вот, кажется, мысли бы ваши угадывала...

Наступило молчание, и Авилов услышал за стеною звуки продолжительных поцелуев.

– Ну хорошо; ну хорошо, – заговорил ласково и успокоительно мужчина. – Ну будет, будет... Ты думаешь, мне самому сладко? У меня сердце кровью обливается, а не то что... Голубка моя.

И опять до ушей Авилова донесся долгий поцелуй.

– Да, вот вы говорите – хорошо, – прошептала женщина, слегка задыхаясь, – а завтра опять... Уж сколько раз вы обещались не попрекать больше, а сами... Перед образами божились сколько раз...

– Ну будет, ну перестань... Ты мне только скажи, ты *того-то*, тогдашнего, не любишь ведь? Правда?

– Ах, Иван Сидорыч, ну что вы спрашиваете? Да я зарезала бы его своими руками, если бы только встретила где!..

Разговор за стеной затих, понизился до шепота, все чаще слышались поцелуи и подавленный, счастливый смех Ивана

Сидоровича.

Сон опять начал сковывать Авилова, но он боролся с ним и все старался припомнить, где он слышал такой же голос? Порою он уже вот-вот готов был вспомнить, но мысли его рассеивались и путались, как всегда у засыпающего человека... Наконец, совершенно засыпая, он вспомнил.

Это было лет шесть тому назад. Он – только что произведенный тогда в офицеры – приехал на лето к своему дяде в имение, в Тульскую губернию. Скука была в деревне страшная, и Авилов постоянно и усиленно искал хоть какого-нибудь развлечения. Охота, рыбная ловля давно надоели, ездить верхом было слишком жарко.

Вероятно, от скуки он однажды обратил внимание на дядину горничную Харитину, высокую, сильную девушку, тихую и серьезную, с большими синими, постоянно немного грустными глазами. Как-то вечером, встретившись с Харитиной в сенях, Авилов обнял ее. Девушка молча отбросила его руки от своей груди и так же молча ушла. Офицер смутился и, озираясь, на цыпочках, с красным лицом и бьющимся сердцем прошел в свою комнату.

Недели две спустя, в жаркий, истомный июньский полдень, Авилов лежал на краю громадного густого сада, на сене, и читал. Вдруг он услышал совсем близко за своею спиной легкие шаги. Он обернулся и увидел Харитину, которая, по-видимому, его не замечала.

– Ты куда собралась, Харитина? – окликнул ее Авилов.

Она сначала испугалась, потом сконфузилась.

– Я тут... вот... купалась сейчас...

Авилов подошел к ней, тревожно оглянувшись по сторонам и обнял ее. Она молча, опустив глаза и покраснев, уперлась руками в его грудь и делала усилия оттолкнуть его. Офицер все крепче притягивал девушку к себе, тяжело дыша и торопливо целуя ее волосы и щеки.

Харитина сопротивлялась долго, с молчаливым упорством и озлоблением. Она была очень сильна. Авиллов начал изнемогать и хотел уже выпустить девушку, как вдруг она страшно побледнела, руки ее бессильно упали вниз, глаза закрылись.

Очнувшись, она принялась истерично плакать. Все утешения и обещания Авилова были напрасны. Он так и ушел из сада, оставив Харитину бившейся в рыданиях на траве.

Она об этом случае никому не сказала ни слова и только старательно избегала встреч с Авилловым.

Да, впрочем, и сам Авиллов через четыре дня уехал из деревни, по телеграмме матери, неожиданно заболевшей.

С тех пор он не видал Харитины, и только сейчас голос женщины за стеной слегка ему ее напомнил, слегка – потому что Авиллов не успел еще разобраться в своих воспоминаниях, как уже опять заснул крепким утренним сном.

– Вашбродь, вставайте! Вставайте, вашбродь. Уж ротный командир пошодши к роте! – будил Никифор разоспавшегося Авилова, тряся его, с должным, однако, почтением, за

плечо.

– Мм... а самовар? – промычал Авилов, с трудом раскрывая глаза.

– Никак нет! Вещи все отправлены: фельдфебель приказали. Я уж вас, почитай, целый час будил: изволили ругаться и сказали, что чаю не будете пить.

Авилов сделал наконец над собою усилие, быстро вскочил с постели и стал поспешно одеваться. Он боялся опоздать. Поспешно плеснув несколько раз на лицо водою, едва застегнув сюртук, он побежал к сборному месту, на ходу надевая шарф с кобуром и шашку.

Батальоны уже стояли правильными черными четырехугольниками вдоль широкой улицы, рядом, один около другого. Авилов поспешно вступил в свое место, стараясь не встречаться глазами с укоризненным взглядом командира.

Небо было ясное, чистое, нежно-голубого цвета. Легкие белые облака, освещенные с одной стороны розовым блеском, лениво плыли в прозрачной вышине. Восток алел и пламенел, отливая в иных местах перламутром и серебром. Из-за горизонта, точно гигантские растопыренные пальцы, тянулись вверх по небу золотые полосы от лучей еще не взшедшего солнца.

Через десять минут из-за правого фланга выехал на своем громадном сером мерине полковой командир. Его голос оживленно и явственно раздался в утреннем воздухе.

– Здорово, первый ба-тальон-он!

– Здра-жла-ва-со!.. – весело и бодро крикнули четыреста молодых голосов.

Он объехал таким образом все батальоны, затем выехал перед середину полка, шагов на пятьдесят, откинулся телом назад и, закинув вверх голову, молодежавым, радостным голосом скомандовал:

– Под знамена! Ша-а-ай! На кра-у-ул!

Батальоны брякнули ружьями и замерли. Прозрачно и резко разносясь в воздухе, раздались звуки встречного марша. Знамя, обернутое сверху кожаным футляром, показалось над рядами, мерно колыхаясь под звуки музыки. Того, кто его нес, не было видно. Потом оно остановилось, и музыка замолкла.

Полк вытянулся в длинную, узкую колонну и двинулся. Солдаты шли бодро, радуясь свежему, веселому утру, отдохнувшие и сытые. Всем хотелось петь, и когда Нога своим звонким, сильным голосом затянул:

Ой да из-под горки, он из-под крутой
Ехал майор молодой, —

солдаты подхватили припев особенно дружно и согласнo. Извиваясь длинной лентой, полк одну за другой проходил улицы большого села. Авилов издали узнал дом, в котором он провел ночь. У калитки его стояла какая-то женщина с коромыслом на плече, в темном платье, с белым платком на

голове. «Это, должно быть, моя хозяйка, – подумал Авилов, интересно на нее взглянуть».

Когда он сравнялся с нею, женщина быстро, точно от внезапного толчка, обернулась назад и встретилась глазами с Авиловым. Он сразу узнал ее. Это была несомненно Харитина: те же глубокие, кроткие глаза, то же серьезное и печальное лицо...

И она его тотчас же узнала. В глазах ее попеременно отразились и изумление, и гнев, и страх, и презрение... она побледнела, и ее ведра упали вместе с коромыслом на землю, дребезжа и катясь.

Авилов обернулся. Тяжелая, острая скорбь внезапно охватила его, точно кто-то сжал грубой рукой его сердце. И почему-то в то же время он показался себе таким маленьким-маленьким, таким подленьким трусишкой. И, чувствуя на своей спине взгляд Харитины, он весь съежился и приподнял вверх плечи, точно ожидая удара.

А рядом с ним – справа, слева, впереди, сзади – здоровые голоса орали с гиканьем, визгом и пронзительным свистом:

Здравствуй, Саша, здравствуй, Маша,
Здравствуй, милая моя...